А жизнь всё-таки смеялась...

А. Гурулёв, С. Черных, К. Житов, В. Распутин

Я никогда не думал, что буду писать о Валентине. Ну, во-первых, я не чувствовал такой потребности: чего писать, если вот он, живой и свойский, рядом, на худой конец — в телефонной доступности. Писать о Валентине Григорьевиче Распутине, о его творчестве — удел высоколобых литературоведов и критиков, к коим я себя не причисляю, а житейские дела вроде бы лишь для обывателя.

Ну, и во-вторых, — у нас была возрастная разница, чуть ли не в два с половиной года в мою пользу, и по житейской логике я не должен бы о нём писать. Но произошло то, что произошло, и теперь чувствую, что надо рассказать и о бытовых мелочах, среди которых выпестовывалась суть большого писателя. Вспомнить, если удаётся, и мысленно пройти путь от встречи в пятьдесят четвёртом году прошлого века в студенческом общежитии Иркутского университета до расставания перед его отъездом в Москву на зимовку и лечение в первых числах октября четырнадцатого года века нашего. И, как оказалось, навсегда.

Он заглянул ко мне домой после двухнедельного нахождения в областной больнице. Мы, допрежь, в те дни разговаривали по телефону, был он бодр голосом, говорил, что всё у него терпимо, его лечат, и не плохо, но однажды, перед самой выпиской, сказал, что обнаружилось ещё одно заболевание.

— Чего ещё тебе доктора навесили? — спросил я, не почувствовав в словах Валентина беспокойства.

— Да не по телефону… В Москву мне надо. Там уже с больницей договорились.

Валя вообще-то был по-сибирски — вот уже точно-то — немногословен, а о болезнях и вовсе не любил говорить, и я оставил всякие вопросы. Не спешил заводить этот разговор и когда он заглянул ко мне домой попрощаться перед своим отъездом.

Всё было как обычно. Мы даже очередной раз вспомнили и поулыбались славному и забавному отношению к недомоганию одного писателя из дальнего зарубежья, приезжавшего лет пятнадцать-двадцать назад к Валентину в гости. На вопрос «как здоровье?» гость ответил очень оптимистично:

— Кое-что лечить приходится, и серьёзно лечить, но и для новых болезней есть ещё много места.

Эти слова как-то очень пришлись по душе и даже скрашивали те моменты, когда привязывалась очередная возрастная или случайная «комуха»…

Так случилось, так судьба распорядилась, одарив дружбой с Валентином на протяжении ровно шестидесяти лет. Впервые мы познакомились в общежитии университета по улице 25-го Октября, улице шибко отдававшей окраиной в то время: без асфальта и других излишеств вроде ночного освещения. Валентин жил в четырнадцатой

комнате первого этажа с выходом в боковой коридор, а я — в четвёртой. Общежитие имело общую кухню, умывальную комнату с холодной водой и собственную кочегарку. Остальные «удобства» — на улице, на горке, в дощатом домике. Общежитие было лучшее из всех четырёх, принадлежащих университету, и мы, студяги, прибывшие из посёлков и деревень, гордились его четырёхэтажностью и повышенным комфортом.

Потом мы в одно время оказались в составе редакции областной (молодёжной) газеты, вскорости ставшей клубом и кузницей начинающих авторов, со временем наковавшей добрую половину иркутской организации Союза писателей СССР. Кстати, в эти же времена в «Молодёжке» работал и Саня Вампилов. Позднее, если позволит провидение, я подробнее остановлюсь на жизни «той» редакции, где творческая жизнь буквально била через окна и двери днём, нередко и ночью. Ну а потом, я повторюсь, немалая часть редакции ушла на «вольные хлеба» и поодиночке перетекла в писательский Союз. Я назову лишь некоторые имена-фамилии: Александр Вампилов, Валентин Распутин, Евгений Суворов, Станислав Китайский, Владимир Жемчужников и аз грешный.

* * *

Для меня Валентинов Распутиных было два, хотя оба они умещались в одном человеке. И каждый из них жил отдельной своей жизнью, лишь изредка позволяя себе напоминать друг о друге. Первый — свой парень, склонный к шутке, розыгрышу, ёрничеству. С которым хорошо сидеть у таёжного костра, добротно выпить, с которым хорошо путешествовать хоть по Тункинской долине, хоть на реку Индигирку, в Заполярье, к самому Ледовитому океану. И надёжный, как ядрёный лиственъ, когда нужна душевная, а то и материальная подпорка.

Ну, а второй Распутин, Герой Социалистического Труда, награждённый двумя орденами Ленина и прочими орденами, лауреат Государственных и других премий, писатель мирового уровня, — находился где-то там, далеко, в Москвах, президиумах и империях. А иначе бы ни лёгкости, ни душевности, ни дружбы не получилось бы. Рядом с ним я забывал о всех его регалиях. А иногда помнить надо бы! Был такой случай, в довольно давние уже времена. Валя купил машину, «Жигули» хорошей модели, уступив просьбам жены Светланы, хотя долгое время упорно отбивался от покупки транспорта. В этом «чёрном» деле и я принимал участие своими прельстительными речами о том, что автомобиль — это свобода, это ветер путешествий, это близкая тайга, это в конце концов поездки за грибами. А тут надо сказать, что Валя очень любил грибную охоту, даже страстью это можно было назвать, и не принимал, по крайней мере для себя, ружейную забаву, и был довольно равнодушен к рыбалке.

Но я пока о том, о машине. Купил её Валентин. Я к тому времени имел уже «жигули-копейку» и «солидный» водительский стаж в три года и потому взялся помочь освоить вождение. Гостил у нас тогда якутский писатель, круглолицый Иван Федосеев. Мы с Валей провожали его в аэропорт. Прибыли в порт, а тут оказалось — рейс задерживается. Чтобы с пользой скоротать несколько часов, решили поехать в предместье Рабочее, где был безлюдный «пятачок», вполне пригодный для тренировки в управлении автомобилем. Решили — поехали.

Теперь почти все автомобилисты, и все они помнят свои первые часы за рулём братоубийственного снаряда, помнят огрехи вождения, когда путаются педали тормоза и газа, когда рычаг переключения передачи становится капризным, когда нужно смотреть, куда едешь, а не на чёртов рычаг. Так что рассказывать, какими словесами награждал их инструктор, не надо, все помнят. Помнил и я.

Вначале всё шло хорошо. Потом что-то не заладилось. И я, в лучших традициях знатоков словесности шахтёрского посёлка, где жил и набирался ума-разума во вре-

мена войны и в послевоенные годы, взялся «доступно» излагать ученику его ошибки и требовать немедленного их исправления. Я совсем забыл про Ивана, затихшего на заднем сидении. А когда мы закончили тренировку и Валя вышел из машины размять уставшие от напряжения ноги, Иван Федосеев обнаружил себя.

— Ты почему так разговариваешь с самим Распутиным? Валентином Григорьевичем! Такой большой человек… Лауреат…

Круглое лицо Ивана стало тёмно-красным, как вечернее солнце во время обложных таёжных пожаров. Я не сразу и не очень глубоко воспринял тревожное возмущение Ивана, представителя хотя и северного народа, но насквозь пропитанного азиатской ментальностью, а чуть поразмыслив, попытался ему объяснить ситуацию.

— Ты думаешь, я не знаю, не чувствую, кто есть Валентин Григорьевич? Знаю. И хорошо знаю. И, мало того, горжусь его сутью и давней дружбой с ним. Но сейчас за рулём сидел не всемирный писатель, а начинающий шофёр. И один к другому не имеющий никакого отношения. А мои слова второго качества спиши на моё плохое воспитание.

Иван кивнул головой вроде бы успокоенно, но по выражению его раскосых глаз я понял, что наш северянин на этот счёт имеет своё, крепко промороженное, словно вечная мерзлота, понятие. И, странное дело, мне душевно понравилась воспитательная реплика Федосеева. И одновременно несколько устыдился своей поселковой расхлябанности.

Тут надо сказать, что Валя, Валентин Григорьевич, родившийся и выросший в ангарской деревне, к которой до сих пор через тайгу нет нормальной дороги, не применял бранных слов, а если быть точным, то почти не применял, разве что в совсем крайних случаях. А может, как раз и потому, что дороги не было, — и там дольше сохранился настоящий народный язык, образный и красочный. Это не то что иные деревни, «хапнувшие культурки» городских окраин, потерявшие языковую культуру дедов и не приобретшие никакой другой, кроме унылой мочалы однообразного пережёвывания — к месту, а чаще и не к месту, по привычке, — языкового похабия.

Но из песни слова не выкинешь — слышал я из уст Григорьевича солёное слово. Однажды — точно. И сам себя спрашиваю: неужели за все шестьдесят лет доброго, близкого общения всего один раз? Покопался в памяти — и ничего больше не вспомнил. Вот так, оказывается, можно все эти «перлы» хранить в прочном запаснике и извлекать их лишь при крайней нужде…

Собрались мы как-то с Валентином и Костей Житовым сбегать за ягодой. За брусникой. Кстати, сибирское слово «сбегать» никакого бега не предусматривает. «Сбегать за ягодой» означает, в данном случае, поездку на машине, а потом — пеший ход по лесной тропе, а то и вовсе без тропы, ориентируясь больше по солнцу, да ещё по какому-то древнему, не объяснимому самому себе чувству.

Решили ехать в Качуг, наш любимый район с давних пор. Ну, во-первых, это родина Кости Житова, нашего неизменного попутчика в эти края. Во-вторых, это верховье великой реки Лены. Ну а в-третьих, и это самое главное, край отзывчивых и щедрых душой людей, которых, однажды познакомившись с ними, не теряешь уже из виду и радуешься любой встрече с ними.

Заехали хорошо, да и зашли хорошо: местные знатоки угодий определили нам маршрут — и мы удачно выбрели на брусничники. Год выдался не шибко урожайным, но, чтобы сбить охотку и привезти домой, ягод вполне хватило. Мы набрали по добрых полведра, перекричались и потянулись к лесной проплешине, куда в оговоренное время должна прийти машина. Машина пришла, мы с Валентином объявили себя, а Костя где-то приотстал. Мы лениво покричали, шофёр посигналил, но Костя не откликался, хотя по недавней перекличке знали, что он где-то близко, на слуху. Покричали ещё раз, громче, настойчивее. Но в ответ — тишина.

Костя — это Костя. Работящий газетчик, с явным уклоном в торопливое репортёрство, книгочей и непоседа, говорун и смехач, познавший сиротство и детдом, мог — мы это знали — поставить личный ягодный успех выше общественного интереса. Заблудиться наш товарищ не мог, на таком коротком пути сделать это трудно, «схарчить» его даже самый непритязательный медведь не мог — кому нужен тощий газетчик, когда в осенней тайге полно и более диетической пищи. Скорее всего Константин Яковлевич наткнулся у какой-нибудь старой замшелой валежины на рясную ягоду и по-бурундучьи затих, набивая ягодой, из-за отсутствия защёчных мешков, заплечный горбовик.

Мы с Валентином сдвоили наш ор, водитель вдавил ладонь в клаксон, и живая жизнь леса, думаю, впала в ступор, испытав незнаемое насилие. И только сердце товарища Житова осталось спокойным. И тут в наступившей тишине прозвучал одинокий голос Вали:

— Костя-я… — и дальше перестук калёных до внутреннего треска слов. Такого я прежде не слышал.

А через короткие секунды за деревьями послышалось тревожное хорканье, потом испуганно заметались ближние кусты, и в прогале появился живой и невредимый Константин Яковлевич, правда, в крайне непривычном смущении.

Ну, а дальше ситуация развивалась для читателя, думаю, вполне предсказуемо: мужская короткая беседа во спасение Костиной души. Да и сердиться на Костю долго невозможно.

* * *

Самая хорошая похвала для сибирского индивидуума мужеска пола — «мужик». Если, как сказал классик, «человек — это звучит гордо», то для нашенского уха «мужик» звучит ещё весомее. «Мужчина» тоже, вроде, неплохое слово, хорошее даже слово, но рядом с «мужиком» сильно тускнеет и означает лишь половую принадлежность. «Джентльмен» означает человека мужского пола и, мало того, в высших проявлениях умственных, моральных и физических качеств, но тоже не то, какой-то набор благоприобретённых достоинств. А «мужик» — это почти необработанный самородок, годный для всякого дела. Дом построить, хлеб вырастить, детей поднять и воспитать, землю свою с оружием отстоять, бабу счастливой сделать — мужик. И мужик скорее себе пальцы отрубит, чем позволит предать мужское начало, к примеру, покрасить ногти. И лишь серьга в мочке левого уха приемлема. Это гордый знак победы смертельно опасного лиха. Это не из сегодняшнего дня, это уже из прошлого.

Валя был мужиком. Даже во внешнем проявлении. Помню момент, когда Света — Светлана Ивановна, жена Валентина — стала недомогать, и супруги решили скрепить союз церковным браком. Они сделали это спокойно, без ажиотажа, и однажды Валентин сказал мне, что они со Светой на днях обвенчались.

— А где обручальное кольцо? — спросил я, кивнув на его руку.

Валентин поднял руку, покрутил кисть перед глазами и бесцветно спросил:

— А ты представляешь нас с колечками?

Я обрадовался не столько вопросу, который нёс в себе одновременно и ответ, а вот этому «мы»: стало быть, и меня он числит по ряду мужиков. А это слышать от Валентина, человека крайне немногословного и неспособного к неискренности, дорогого стоило.

Я перечитал вот эти, только что написанные строчки, и призадумался: а не представил ли я Валентина этаким противником символов — колечек, цепочек и прочего? Вроде бы нет, но… И потому поясняю: не был он противником мишуры. Просто не для всех она, она должна быть созвучна сути человека. Каждому своё. Нам — не надо.

Здесь ещё хочу добавить — хотя это вроде бы из другой песни — я никогда, подчеркиваю, никогда не видел Валентина в орденах, медалях и значках лауреатов. А было бы на что посмотреть: весьма впечатляющий «иконостас». Я об этом уже упоминал. Но его ордена лежали в уютной тишине и никогда не являли себя миру.

И к одежде он тяготел к самой простой, без малейшей вычурности, но добротной. Его довольно скоро, после первых публикаций, сказавших миру о появлении таланта, стали включать в зарубежные поездки. В те времена яркой одеждой можно было разжиться лишь за «бугром», да в три дорога у так называемых фарцовщиков, скупавших шмотки у иностранцев. Ни одной яркой вещи из-за рубежа Валя не привёз — только практичную и удобную, без модных вскриков…

Когда наши поездки в лес-тайгу стали довольно регулярными, особенно осенями, когда ночи становятся длинными и холодными, когда, как ни крутись, а у костра становится не так уютно — с одной стороны печёт, а с другой холодным ветром спину сечёт, — озаботились мы покупкой телогреек. Инициатором был Валентин. А где взять? В магазинах покупать не хочется. Туда родной Легпром поставляет, поставлял, конечно, телогрейки унылого вида, по известному в народе лекалу «на банный угол». А нам хотелось «телагу» пусть не от Армани, но чтобы она грела не только тело, но и душу.

Взялся за это дело наша беда и выручка Константин Яковлевич. В очередную поездку в Качуг Костя, человек непоседливый и инициативный, заглянул в местную пошивочную мастерскую и с детдомовской непосредственностью попросил сшить три телогрейки. Тут, конечно, сыграло имя Валентина, заказ был принят даже с гордостью, что именно к ним обратился знаменитый писатель, и был выполнен уже буквально назавтра. Я никогда не видел таких красивых телогреек. Аккуратные, прошитые с художественной выдумкой, с прорезными карманами, с красивыми кнопками вместо пуговиц. Годные не только для леса-поля, но и для городских улиц. Народ красоту оценил, и даже пришлось услышать совсем уж неожиданное:

— Это у вас из-за границы?

Не знаю, что говорили Валентин с Костей, а я неизменно отвечал:

— Мэйд ин Качуг!

Иные озадачивались названием государства, тревожили свою память: даже Гондурас знаем, Тринидад и Тобаго известны, а вот Качуг… Где это?

— В верховьях великой реки Лены. Посёлок такой.

В моём гараже до сих пор висит эта самая телогрейка. Крепко обтрёпанная, но всё ещё умеющая хранить тепло. На люди в ней уже не выйдешь, только можно на паперть, милостыню просить. Но выбросить жалко, рука не поднимается. Память!

* * *

…Я не могу ощутить, что его нет. Видно, душа, защищаясь от пустоты, не хочет с этим соглашаться, не принимает реалий. Как же так — больше полвека был, а теперь нет? И голова поддерживает душу: не дай Бог проникнуться пустотой, бесприютностью в нынешней людской толчее, всё больше распадающейся на незалежные биологические образования. Не хочется восплакаться словами: «Господи, мы одиноки».

Альберт ГУРУЛЁВ